Сибирские узлы империи

М.Я. Рожанский

Михаил Яковлевич Рожанский, кандидат философских наук, научный директор Центра независимых социальных исследований-Иркутск. 664003, Иркутск-3, ул. Богдана Хмельницкого 30А. E-mail: mr1954@yandex.ru

Статья посвящена роли сибирского фактора в ключевых противоречиях российского развития, в том, что логика экстенсивного освоения пространства преобладает над логикой налаживания жизни, в воспроизводстве монополистического характера власти и имперского сознания. Автор обращается к концепции Пьера Бурдье о «круговом подкреплении» (взаимозависимость физического и социального пространства) и анализирует, как и насколько она применима к социальному пространству России. Рассматривается новый виток внутренней колонизации и его оформление в идеократию, то есть систему власти, которая санкционирует себя как хранитель больших исторических смыслов и требует от подданных быть приверженцами этих смыслов. Возобновление власти центра (и новое учреждение гиперцентрализма) происходит, по мнению автора, во-первых, как подтверждение новыми акторами, составляющими «центр», абсолютной собственности «центра» на территорию страны, а во-вторых, как процесс вторичной колонизации (т. е.. системы удержания населения), что и необходимо иметь в виду при объяснении воспроизводства империи.

Соглашаясь с концепцией о ключевой роли сибирского фактора в поисках путей преодоления логики экстенсивного развития (программа В. Зубова и В. Иноземцева), автор проблематизирует доксу единой субъектности Сибири как одну из составляющих оптики централизма в социальных науках. Презентация сибирской идентичности («сибиряки») не означает субъектности Сибири даже на уровне политической рефлексии. Одно из деструктивных следствий централизма в организации социальных наук — неспособность инструментально артикулировать субъектность края, земли, местного сообщества на языке социального знания. В статье обозначена роль конкретных социальных исследований и гуманитарного образования в продвижении к реальному федерализму

Ключевые слова: Сибирь, социальное пространство, круговое подкрепление, внутренняя колонизация, идеократия, местное самоуправление, федерализм

DOI: 10.22394/2500-1809-2018-3-2-34-54

Бремя и миссия

В книгах и статьях о перспективах развития России, опубликованных с начала века, одна из самых цитируемых работ — «The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia out in the Cold» историка Фионы Хилл и экономиста Клиффорда Гэдди (Hill, Gaddy, 2003). Оценки этой книги в России радикальны. Ее либо

определяют как доказательный диагноз основных российских проблем, либо обвиняют в выполнении геополитического заказа. Идея книги проста и убедительна: госплановская советская экономика разместила в Сибири предприятия и города, поддержание которых непосильно для России. И если не подсократить «сибирское хозяйство» державы, то Россия не вылезет из западни, в которую себя загнала, и никогда не сможет встать в число развитых стран.

Бесспорно, что в советское время освоение Северной Азии было впечатляюще масштабным, поскольку государственная экономика позволяла не всегда считаться с затратами ради отложенных (и не всегда ясных) эффектов. Советская власть придала новый масштаб политике, которая оформлена крылатой фразой Михаила Ломоносова «Могущество российское прирастать будет Сибирью!». Но истоки этой политики восходят к концу XVI столетия, хотя и реализовывалась она наиболее последовательно в XX веке после строительства царским правительством Транссиба и благодаря преобразовательным планам советского режима.

Точно так же не нова идея о том, что для удержания сибирских земель нужно гораздо больше средств, чем можно извлечь из Сибири. Решение о поддержке казачьих рейдов за Урал после победы Ермака в 1582 году было принято после значительных колебаний. И когда обсуждались планы строительства Транссиба в конце XIX века, петербургская газета «Гражданин» писала, что один Невский проспект в Петербурге «в пять раз ценнее всей вашей Сибири». После крушения советской экономики в 1990-х годах популярная среди экономических и геополитических экспертов идея «сжатия» России также отводила Сибири (за исключением тюменского газонефтедобывающего региона) роль периферии, интересами которой необходимо пренебречь ради экономического развития России. Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди выступили как критики геоэкономических иллюзий, порожденных политическим и экономическим всевластием Центра, но при этом воспроизвели взгляд на Сибирь из этого самого Центра, то есть отношение к Сибири не как к месту жизни, а как к ресурсу экономического развития страны. Противоречие между масштабами геополитических планов и экономических проектов, с одной стороны, и слабостью инфраструктуры, необустроенностью жизни, с другой, — ключевое противоречие развития России. Именно на него пытались дать свой ответ и противники строительства Транссиба, и сторонники «сжатия России», но любой из этих ответов предполагает тот же взгляд на пространство за Уралом, который лежит в основе решений власти — взгляд из Центра, брошенный на восточные просторы.

В 2013 году вышла книга о сибирском факторе в проблемах России, заслуживающая как минимум не меньше внимания, чем книга Гэдди и Хилл. Речь о работе Валерия Зубова и Владислава Иноземцева (Зубов, Иноземцев, 2013), анонсированной авторами как обоснование концептуального тезиса для последующей дискуссии

и разработки. Валерий Зубов, ученый-экономист и бывший губернатор Красноярского края, свое авторское послесловие к книге (и книгу в целом) завершает предельно краткой формулировкой главного тезиса: «Сибирь для России — не проблема, а шанс».

Иноземцев и Зубов, так же как Гэдди и Хилл, показывают несостоятельность геоэкономических перспектив централизма, но в отличие от американских авторов видят корень проблемы не в том, что невозможно поддерживать жизнеспособность того, что создано советской госплановской системой, а в том, что гиперцентрализм не способен играть конструктивную роль в экономическом развитии и что современная модернизация не может быть централизованной. Авторы назвали свою книгу «Сибирское благословение», представив ее, таким образом, как реплику на «Сибирское проклятие». Но книга, если и предстает «нашим ответом», то лишь в очерчивании общего взгляда на роль Сибири в российском развитии, основное содержание книги не подчинено полемике, а скорее, предлагает альтернативный взгляд, основанный на знании сибирского потенциала российской экономики. Развивая свою позицию и развертывая ее в некую программу необходимых шагов, они используют понятие «сибирская миссия», которое гораздо точнее выражает их взгляд на роль Сибири в развитии России, чем слово «благословение», вынесенное в заглавие. Сибирь как некий страдающий объект политики Центра и некий субъект действия обладает возможностями и жизненно заинтересована в том, чтобы вывести страну из исторической колеи сверхцентрализма. Логика и пункты программы, предлагаемой авторами, направлены именно на это. Но, предлагая программу вывода России из исторической колеи, Зубов и Иноземцев не анализируют, как сама Сибирь из этой колеи выйдет. Будучи согласным с авторами «Сибирского благословения» в их главном тезисе (Сибирь — шанс для России), я все-таки хотел бы рассмотреть вопрос о ключевых трудностях в реализации этого шанса.

Россия как колония Сибири. Круговое подкрепление

Сибирь сохраняется как единое имя для территории, составляющей две трети России. Все это огромное и природноразнообразное пространство Северной Азии имеет единый топоним только потому, что оно было стремительно (по историческим меркам) взято под власть Московского государства. На административной карте современной России это полтора или два десятка областей, республик, краев — в зависимости от того, что считать Сибирью. С определения границ Сибири, на мой взгляд, начинается диагностика социального пространства России как имперского.

Нет разногласий только в отношении южных и северных границ — это государственная граница России. Несовпадения в определении границ Сибири в физической географии, экономической

и административной, расхождения в определении Сибири в западной и российской справочной литературе связаны с противоречиями в ее освоении, более того, отражают глубинные противоречия российского развития.

Иннокентий Серебренников в курсе по сибиреведению, прочитанном в июне 1920 года в Харбине, писал, что «под Сибирью в общем подразумеваются североазиатские владения России» (Серебренников, 1920: 21). Различая административный и географический подходы, он далее предлагал:

«Исторической, коренной Сибирью можно считать территорию, занятую губерниями: Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской, с добавлением к ним еще Западного Забайкалья. На этой территории имеется уже прочно установившийся русский уклад жизни. Остальная Сибирь находится еще в периоде освоения ея русским народом, большие колонизаторские способности которого едва ли могут подвергаться сомнению» (Там же: 22).

Иначе говоря, Сибирь — пространство, на котором установился и устанавливается «русский уклад жизни», те цивилизационные модели, которые вместе с Россией пришли на североазиатские земли. Обратим внимание, что даже при относительности критерия («установился и устанавливается») к этому пространству не относится некая «остальная Сибирь». Речь, по сути, идет о несовпадении государственной территории и социокультурного пространства. Спустя столетие это несовпадение сохранилось, несмотря на масштабную экономическую активность государства в Сибири в советский период, несмотря на урбанизацию (Сибирь с 1950-х гг. является самым урбанизированным регионом страны), рост населения, развитие культурных, научных и образовательных центров.

Сибирь — северная часть Азии, куда вместе с пришедшими, присланными или сосланными из-за Урала людьми, вместе с русским государством пришла европейская цивилизация, которая стала доминирующей, но не стала органичной и до сих пор прочно не укоренилась. «В русской экспансии все было непрочным и неопределенным. Подвиг поразителен, но окружен хрупкими звеньями», — писал Фернан Бродель в очерке о том, как Московская Русь в XVII веке, решая свои проблемы, «изобрела Сибирь» (Бродель, 1992: 474). Эта оценка применима и к результатам четырехвекового российского освоения Северной Азии.

Два проблемных пункта, создающих неопределенность восточных и западных границ, отражают как раз незавершенность «изобретения Сибири». Первый — разность между Сибирью и Дальним Востоком, совершенно несущественная, условная или даже незаметная за пределами России[1], но безусловная для тех, кто живет

1. В зарубежных энциклопедиях такое разделение и приводят как советскую или российскую практику. В Польше Историческая энциклопедия еще в 1969 году обращала внимание на то, что в советское время сосуществу-

в пространстве между Уралом и Тихим океаном. Безусловна она для «региональной» идентичности, но принципиальна и для анализа проблем. Владислав Иноземцев и Валерий Зубов оговаривают, что намеренно объединили Сибирь и Дальний Восток в своем анализе и проектных предложениях. На мой взгляд, в этом кроется концептуальная ошибка.

Дальний Восток — регион, история, перспективы, человеческая жизнь в котором определяются тем, что это выход России в Тихий океан и Азию. Сибирь — регион внутренний, континентальный. Приход русского государства в пространство, которое получило название Сибирь, сделало его судьбу и судьбу людей, живущих здесь, зависимыми от того, как европейский тип цивилизации будет согласован с ландшафтом Северной Азии, от того, наладится ли неразрушительная для природы хозяйственная жизнь человека. Второй пункт неопределенности границ Сибири — несовпадение ландшафтных границ с теми, которые устанавливаются экономической и административной практикой: например, в экономическом районировании в советский период или при выделении федеральных округов при «укреплении вертикали власти» администрацией В. Путина. И это отчетливо свидетельствует, если говорить о политике, что логика экстенсивного освоения пространства преобладает над логикой налаживания хозяйственной жизни в этом пространстве, и если говорить о результатах политики, что отношения между хозяйственной жизнью и природой в локусах этого пространства задаются внешними, а не местными факторами, то есть не потенциалом природного и культурного ландшафта.

Разногласия в отношении того, что считать Сибирью, отражают ключевое противоречие развития России — неорганичность ее социального пространства, а эта неорганичность, в свою очередь, исторически объясняется наличием в составе России огромной территории за Уралом. Расползаясь в пространстве, империя не успевала осваивать его. Сибирь осваивалась фрагментарно, но не обустраивалась. Как и вся Россия, ставшая заложницей сибирских богатств. Доход от сибирских ресурсов позволяет выходить из системных кризисов, сохраняя экстенсивный характер экономики. Так воспроизводится монополистический характер экономиче-

ют два определения Сибири: первое, как и до 1917 года, охватывает территорию от Урала до Тихого океана; второе объединяет Западную и Восточную Сибирь, исключая Дальний Восток («Radzieckiej Encyclopedij Historycznej» XII, s. 830). Замечание о сосуществовании двух определений достаточно верное, но все же при уточнении, что к концу XX века первое — «широкое» — более характерно для зарубежной литературы, а в Советском Союзе и в России более употребимым стало второе. И еще одно уточнение к статье из польской энциклопедии — возникшее невключение Дальнего Востока в понятие Сибири нельзя относить полностью к советской практике, у него есть досоветская предыстория.

ской и политической власти, закрепляющей, в свою очередь, основы экстенсивного развития.

Ход российской истории можно описать метафорой маятника, одна из крайних точек движения которого — Смута или угроза распада страны, а противоположная — всевластие полицейское, бюрократическое, олигархическое, способное переходить в деспотию. Гигантская амплитуда этого хода объясняется масштабами пространства, которое власть пытается подчинить и которое выходит из повиновения, когда власть слабеет. А география России: ее размеры и характер, формы заселения — от казачьих поселений, скитов вольных крестьян в прошлом до «поселков городского типа», созданных для добычи природных ресурсов (т. е.. для временной жизни), и моногородов, возникших вокруг больших строек и предприятий, — производны от деспотии и смуты. Создавались они либо людьми бежавшими (не обязательно преследуемыми, но бежавшими), либо людьми, брошенными сюда властью. Ведущую роль в этой взаимозависимости между неопределенностью власти и неосвоенностью пространства играет именно фатальная «недоструктурированность» общества.

Разрабатывая концепцию социального пространства, Пьер Бурдье подобные взаимозависимости социума и физического пространства назвал «эффектом кругового подкрепления» (Бурдье, 1993: 51). Понятие «социальное пространство» помогает описать взаимодействие физического пространства, географии с формами социальной жизни, но формами достаточно структурированными, отчетливыми. Понятие оказывается крайне приблизительным для России, его инструментальность ограничена: социум определяет здесь природу бессистемно, не считаясь с необходимостью взаимного приспособления ради сохранения природной основы и устойчивого социального развития. А подобный тип отношений с природой, в свою очередь, становится мощным фактором деструкции социального пространства, поддержания рисков аномии и реализации этих рисков в кризисных ситуациях.

Общество не сложилось, как не сформировалось и государство. Европейский путь не состоялся — власть, распространившись на огромное пространство, не развилась в государство, которое нуждалось бы в опоре на общество и могло бы рассчитывать на такую опору. А формирование общества могло проходить в сопротивлении абсолютистскому государству, но не абсолютной власти, и в обуздании индивидуалистской анархии, которую невозможно обуздать, если антисоциальный человек имеет возможность уйти, убежать от любого контроля — общественного ли, полицейского ли. Благодаря этому Московская Русь, Российская империя, Советский Союз переживали радикальные революции. Василий Ключевский отмечал, что этот обычай — решать жизненные проблемы, уйдя на новое место и начав жить сначала — оборачивается в русской истории революционными рывками, бескомпромиссными по отношению

к прошлому. Можно добавить, что революционные рывки оборачиваются повторением прошлого, в том числе и гиперцентрализацией системы власти. Смута и революция завершаются новым стягиванием страны из Центра, а созидательная энергия, разбуженная «минутной слабостью» державы или ее распадом, частично подавляется, а частично мобилизуется на решение амбициозных внешних задач. При этом институты и инструменты иерархической власти предлагаются центральной властью как «приводные ремни», приводящие жизнь «на местах» в движение.

В то же время сохраняется разнообразие России — повседневность на этом пространстве не унифицируется, жизнь не сводится к единому знаменателю. Ни одна «вертикаль власти» выполнить эту задачу не в состоянии, даже если ставит ее перед собой. Благодаря этому сохраняется потенциал для поиска альтернативных путей развития, который позволяет прорываться из кризисных ситуаций, но благодаря этому возникает и «смута» — реальная угроза распада государственного пространства. И угроза «смуты» определяет фатальное откладывание реформирования экономического, политического, социального пространства.

Внутренняя колонизация: новое издание

Распад СССР и предшествовавшие события в союзных республиках заслонили противоречие «Центр/места», представив его в межнациональной форме[2]. Перестройка может быть рассмотрена как революция провинциалов: по кадровым изменениям в партийном руководстве, по географии первых массовых политических акций, по формированию новой политической элиты на съездах народных депутатов СССР и, наконец, по формированию руководства постсоветской России (Rojansky, 1995). Формирование политико-экономической системы постсоветской России проходило как сложный поиск новой точки равновесия и завершилось утверждением «вертикали власти» как стержня гиперцентрализованной конструкции[3].

2. Перестройка началась с выступления Михаила Сергеевича Горбачева в апреле 1986 года в Тольятти. И дело не только в том, что именно в этой речи было впервые употреблено само понятие «перестройка», не менее существенно, что непредуказанная инициатива на «местах» была обозначена как необходимая основа системных изменений. Генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший руководитель Ставропольского края, поднял взгляд от текста важного программного выступления и, глядя в зал, сказал: «Нельзя развиваться по указке из Москвы».
3. Можно напомнить, что начало этого процесса (еще в период тяжбы с союзным руководством за суверенитет России) также ознаменовалось призывом Бориса Николаевича Ельцина к инициативе на местах (по сути, к региональной субсидиарности): «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Известия, 08.08.1990.

Постсоветская государственно-капиталистическая модернизация, стартуя на основе системного кризиса, заново осваивает территорию страны, а затем структурирует пространство социальное, формирует каркас новой системы. Но несущей конструкцией в этом каркасе остается сверхцентрализация политической, экономической и культурной жизни. Именно это задает экстенсивный характер модернизации, который протекает как возобновление внутренней колонизации страны.

В свою очередь, достижение экономических целей через концентрацию ресурсов прочно увязывает модернизаторские задачи не столько с инициативой и предприимчивостью, сколько с отношениями подчинения и зависимости, не столько с практиками партнерства, сколько с практиками культурного дистанцирования и исключения. Этот процесс описывается понятием «внутренняя колонизация».

Эвристичность концепта внутренней колонизации в территориальном анализе России отчетливо и аргументированно заявлена Борисом Родоманом в книгах и статьях, начиная с момента распада СССР (см., например: Родоман, 1996, 2008). В исследованиях русской культуры в большой степени как инструментальное легализовал это понятие в серии своих статей, а затем в авторской книге и в проблемно-тематическом сборнике Александр Эткинд. В работах Эткинда через призму внутренней колонизации рассматривается российская культура (прежде всего XIX века), которая предстает социокультурным дистанцированием между интеллигенцией и народом, между социальными науками и населением страны и т. д. (Эткинд, 2001, 2003; Etkind, 2011). Такое социокультурное дистанцирование — неотъемлемая сторона внутренней колонизации и ее отчетливый признак. Применение понятия «внутренняя колонизация» к сегодняшним российским реалиям[4] — признание факта подобного дистанцирования и, заметим, признание столичной (а также «экспортной») ориентации в производстве социального знания. В рамках статьи, которая не посвящена специально понятию «внутренняя колонизация», в эту дискуссию на нынешнем ее этапе включиться невозможно. Отметим только: факт обращения к прилагательному «внутренняя» показывает, что в слове «колонизация» применительно к России заключено не деление на метрополию и колонии, а представление об отношениях власти (=Центра) и страны, диктуемых соотношением экспансии и развития в том пространстве, которое входит в единое государство. В формуле Василия Ключевского, ставшей афоризмом — «история России есть история страны, которая колонизуется» (Ключевский, 1987: 50), — следует принять во внимание возвратную форму глагола. Россия — страна, которая колонизует сама себя. Развитие,

4. Дискуссию вокруг применимости понятия внутренней колонизации к истории России см.: Эткинд, Уффельман, Кукулин, 2012; Уффельман, 2012.

движение происходит за счет освоения пространства, включения новых ресурсов, «новых географий» в сферу использования, втягивания в сферу влияния и т. д.

На первом этапе постсоветской модернизации, последовавшем за системным разрушением советской экономики, центростремительное освоение ресурсных потоков охватило те источники доходов, которые могут быть вовлечены в бизнес быстро и с высокой нормой прибыли. Права на них были предъявлены уже существующими властными центрами, расположенными на разных уровнях «вертикали власти». Состоялось очередное в русской истории возобновление гиперцентрализма, неотъемлемой частью которого являются на сей раз экономическая власть и политическое присутствие крупных финансово-промышленных групп в регионах.

Перераспределение с участием финансово-промышленных групп власти над ресурсами заново колонизирует пространство. Отстраняясь от идеологической окраски, которую слово «колонизация» наследует от советской историографии и пропаганды, обратим внимание именно на инструментальные возможности. Это прежде всего возможность проследить, как происходит продвижение от освоения территории страны агентами нынешнего витка модернизации к переструктурированию социального пространства, его эшелонированию по географическим основаниям (первичная колонизация), и формирование жестких зависимостей между географией места жизни и социальным положением человека, его жизненными перспективами (вторичная колонизация). За каждым системным кризисом следует возникновение и утверждение новой сверхцентрализованной системы, стремящейся стать «надсмотрщиком над повседневностью» (Гефтер, 1989: 387). Иными словами, возобновление власти Центра (и новое учреждение гиперцентрализма) происходит, во-первых, как подтверждение новыми акторами, составляющими Центр, абсолютной собственности Центра на территорию страны, а во-вторых, как возникновение новой системы удержания населения. Процесс становления и функционирования этой системы и называется вторичной колонизацией. Именно ее принципиально важно рассмотреть при анализе воспроизводства империи, объяснении цикличности этого феномена.

Вторичная колонизация — это колонизация населения, когда вырабатываются какие-то механизмы, с одной стороны, привязывающие людей к системе властвования, с другой, нагружающие их какими-то обязанностями по удержанию земли, пространства, ресурсов и т. д. Формирование этих механизмов в постсоветской России (и, в частности, в Сибири) хорошо прослеживается в конкретных исследованиях жизненных стратегий жителей моногородов, воспроизводства бедности в поселках, местного самоуправления в сельской местности.

Особенно характерен процесс вторичной колонизации того пространства, которое оказалось вне бизнес-интересов и, по сути,

выпало из зоны чьей-либо ответственности. Например, рабочие поселки, которые создавались как временные для освоения невозобновляемых ресурсов, трансформировались в зоны бедности. Социальное расслоение и дистанцирование оборачиваются невозможностью для значительной части населения таких поселков изменить траекторию ниспадающей социальной мобильности не только для себя, но и своих детей — человек, семья прикрепляются к тому месту, где у них не осталось социальных шансов, будучи одновременно в этом месте стигматизированным, нежелательным или социально исключенным элементом. Основа воспроизводства бедности — ослабление социальных сетей и исключение человека из сетей.

Человека закрепляет на территории прежде всего проблема жилья. Жилье как тотальный инструмент социального управления — неотъемлемая составляющая советской организации социального пространства. В постсоветской России сброс проблемы жилья на волю рынка не ликвидировал это наследие, а упрочил его.

Вновь выстроена система управления, названная «вертикалью власти», но дополненная местным самоуправлением, на которое формально возложена ответственность за решение вопросов, которыми не способна заниматься централизованная власть. При этом местное самоуправление практически не имеет ресурсов для развития и обречено на почти имитационное существование. «Вертикаль власти», выстроенная для того, чтобы удерживать эти обширные пространства, не может решать задачи налаживания и обустройства жизни. И опасаясь потерять контроль, не способна доверить эти задачи местному самоуправлению, местному сообществу. Нынешний виток сверхцентрализации существенно отличается от монархо-крепостнической и советской России: постсоветская бюрократия не обладает возможностью решать все проблемы, зато обладает знанием, что это невозможно и попытки обречены. Необходимость решительного пересмотра властных отношений «центр-места» может быть осознана и заявлена как выстраданный призыв, но риски утраты контроля над процессом децентрализации (а точнее, тревога по поводу возможной утраты контроля) оказываются гораздо весомее, чем стратегическое понимание. Парадигма укрепления «вертикали власти» приводит к настойчивым попыткам упразднить выборность власти в городах, являющихся центрами регионов, расширить возможности по отстранению «сверху», а не в результате демократической ответственности глав городских муниципалитетов. В этом контексте учреждаемая система местного самоуправления в середине нулевых годов предстала не столько пространством утверждения демократических принципов, сколько выталкиванием формальной демократии на уровень поселков и деревень — туда, где нет экономических ресурсов.

ТЕОРИЯ

«Побег в будущее», обычай уходить (убегать) от невыносимой жизни на новое место, которым Василий Ключевский объяснял радикальные рывки в истории России, бескомпромиссные по отношению к прошлому, лежат в основе еще одного российского феномена, новое издание которого мы наблюдаем сегодня. Речь об идеократии — системе власти, которая, во-первых, санкционирует себя как хранитель или носитель (в предельных случаях — источник) больших исторических смыслов и, во-вторых, требует от подданных быть приверженцами этих смыслов, на чем и строит социальное управление.

Понятие «идеократия» разрабатывалось евразийцами в конце 1920-х годов, когда в движении образовалась группа, озабоченная возвращением в Россию, ставшую советской, и подготовкой программы, которую бы приняли большевики как программу развития революции. Большевики, по мнению этих евразийцев, реализовали интуицию русской революции на ее разрушающем этапе, но неспособны к необходимому для созидательной практики теоретическому прорыву, поэтому осознают потребность в идейно-теоретической помощи. В еженедельнике «Евразия», выходившем в Париже менее года (35 номеров), весной 1929 года было опубликовано десять редакционных статей «Проблемы идеократии», основным или единственным автором которых был Лев Карсавин (Рожанский, 1999). В статьях обосновывался круг тем, нуждавшихся в разработке, заявлялись принципиальные идеи и установки.

Необходимость идеократии выводилась из необходимости решения вечных российско-евразийских проблем и непригодности европейских моделей для их решения. Идеократия представлялась как альтернатива демократии, как возможность удержать государственную целостность «континента Россия-Евразия», сохранив культурное разнообразие на этом пространстве и опираясь на него. Целостность была идеализирована как потенциал и цель, идеальная Россия-Евразия именовалась евразийцами «симфонической личностью». Идеократия предлагалась как проведение в практическом обустройстве российской жизни общеобязательных идей и как соборность в духовной жизни. В сталинской России идеократия была осуществлена без советов евразийцев и использования самого понятия. Советский проект — создание новой исторической общности, мобилизация социальной энергии через значимую историческую цель, утверждение власти идеи. В отличие от евразийской теории сталинская идеологическая политика соотносила единство страны с унификацией, а не разнообразием.

Власть идеи — идеократия — нуждается в мифологии общего происхождения. Идея новой общности не замещает, а предполагает этот ресурс — конструирование общего прошлого. Георгий Федотов, наблюдая из эмиграции происходящее в советской России,

посвятил ряд статей рождению советского патриотизма, в котором он видел прежде всего патриотизм имперский (Федотов, 1982: 282-283). Для власти этот шаг был, в понимании Федотова, скорее вынужденным в создании себе массовой опоры. Во всяком случае, поворотом в сторону, если не отступлением от революционной догмы, и, более того, «национальным перерождением революции». Национальное прорвалось как патриотизм, который сдавливали[5]. Иначе говоря, патриотизм предстает некоей традицией, прерванной в революционную эпоху, искавшей возможность проявления, и поддержанной советской властью в собственных стратегических целях. Федотов видит эту традицию и ее напор как русское национальное (понимая, говоря сегодняшним языком, нацию как гражданскую, а не этническую общность), а в сталинской ставке именно на имперский патриотизм — стремление не допустить проявление национального сознания. Но у имперского патриотизма не менее прочные социальные основания, чем у гражданской нации. Речь о тех особенностях отношения к миру, которые присущи участнику экстенсивного развития этноса. Проблемы отношений между человеком и пространством являются как следствием российской истории, так и одним из определяющих ее факторов.

Советский проект был решительным разрывом с прошлым, а подобные рывки в истории России, желание «начать все сначала» понятно и близко людям, самим начинающим жизнь заново на новом месте. Можно отнести насаждение беспамятства на совесть новых революционных властей. Но культурная амнезия — не умысел большевиков, а почва как для рождения их идей и стремлений, так и для восприятия этих идей «массами». Обычай «начать все сначала» — это и безразличие человека к прошлому того места, на которое он пришел, чтобы его преобразовать и/или в нем укрыться, но это и разрыв с прошлым и с тем местом, откуда ушел, сбежал, был изгнан. Здесь серьезные основания для того, чтобы после мировой и гражданской войн идеократия была не только насаждена, а востребована как средство поддержания имперской (ставшей «советской») идентичности. Революция произошла в стране, где мобильность людей, в большой мере благодаря географии, была правилом, а не нарушением правил. И нормой была маргинальность — несовпадение с нормами. Для раскрытия источника социальной энергии принципиально важно, что маргинальность — предпосылка к стремлению человека изменить свое место в мире. В том числе и за счет участия в изменении мира. Советская власть, собственно, и приняла этот факт за основу своей деятельности и целями, лозунгами, поддержкой иллюзий выразила стремление и привычку переделывать жизнь.

Власть большевиков, безусловно, явилась катализатором модернизационных процессов, ломавших социальные структуры и задав-

5. «Годами сдерживаемое, даже удушаемое чувство любви к родине, столь человеческое, получило свободу своего выражения» (Федотов, 1982: 282).

ших высокую степень социальной мобильности, но была и результатом их. История советского общества наследовала двум с лишним векам формировавшейся российской империи и жизни людей на пространстве империи. Но к естественным модернизационным процессам (урбанизация, резкий рост количества получающих образование и т. д.) прибавила еще тотальную и постоянную маргинализацию, рассекая естественные человеческие связи — семейные, соседские, дружеские — и преследуя за них. Единственные отношения утверждались как несомненные для человека — отношения с властью. И этот «эффективный менеджмент» лишал саму власть перспектив обрести прочную социальную опору. Идеократия и утверждалась как мобилизационная модель «объединения сверху». Пик репрессий, обозначенный сегодня символическим понятием «тридцать седьмой год», совпадает с началом идеологического проекта по включению советского строя в большую имперскую историю. В начале 1937 года Федотов обратил внимание на передовицу «Правды», которая, опираясь на цитату из Маркса, актуализировала битву на льду Чудского озера как победу русского народа над немецкими агрессорами. Федотов отмечает умолчание об Александре Невском (очевидно, связанное с тем, что князь канонизирован церковью), не исключает, что умолчание временное («поживем — увидим»), но, оценивая в целом «попытки синтеза в новом стиле», заключает:

«Теперь Сталин хочет амнистировать русскую культуру, не сводя Ленина с пьедестала. Более того, оставляя ему первое место в этой органически несовместимой культуре. Но пусть он сам покажет, как это нужно сделать!» (Федотов, 1988: 94).

Для Федотова подобный синтез нелеп и бесперспективен: «Когда Ленина надо мирить с Карамзиным, здесь воображение отказывается работать» (Там же: 95). Но в последующее десятилетие Ленин (то есть революция в России как главное событие не только истории России, но и всемирной истории) и Карамзин (то есть история России как история Московского/Петербургского государства) были органично соединены. Основой для «нового синтеза» стала именно имперская история как исторически прогрессивное собирание земель.

Вписывание советской истории в единую историческую линию и даже в идеологическую традицию, идущее от древнерусских княжеств и становления Московского государства, — отчетливая стратегия официальной пропаганды и культурной политики с середины 1930-х годов. Сталинская идеологическая машина не могла признать советский строй наследником крепостной России, а партийно-государственное руководство продолжением самодержавия, однако Советский Союз был представлен наследником «собирания земель», высшим этапом исторической миссии русского народа. Страна от Балтики до Тихого океана и революция в России предстали народным подвигом, первый из которых — пролог и залог великого значения второго.

Этнический национализм, скорее, вторичен по отношению к имперскому сознанию. Позднесталинские интерпретации истории по-своему утверждали в сознании советского человека славянофильский миф — образ России как страны, история которой — и воплощение некоей национальной идеи, и история русского народа. Сталинское руководство, по сути, повторило логику идеологического поведения российского самодержавия в конце XIX столетия. Александр III пытался придать Российской империи форму национального государства[6]. Монаршая власть реагировала на утрату своей сакральности и предъявила мощную историческую санкцию, компенсирующую утрату религиозного трепета. Аналогичная стратегия или импровизация Сталина в этом направлении была также созданием исторической санкции в дополнение к резко ослабевшей власти идеологической утопии.

Во время Великой Отечественной войны эта стратегия преследовала идейно-мобилизационные цели, но уже к окончанию войны в ней рельефно проявились и репрессивные намерения в логике «перманентной гражданской войны», возник ярлык «низкопоклонства перед Западом». Борьба с «безродным космополитизмом» и ряд других пропагандистских кампаний внесли в поиски внутренних врагов этнические критерии. Понятие «русский народ» обрело одновременно идеологические и этнические смыслы. Своим происхождением «русская партия», деятельность которой стала подготовкой современной идейной повестки дня («русский мир», «русофобия и всемирный заговор против России», «духовные скрепы» и т. д.), обязана именно послевоенной идеологической и социальной атмосфере[7].

Идеократия эксплуатирует и продуцирует экзистенциальную роль «большой истории» для человека, живущего в России. Сибирь в этом сюжете представлена, во-первых, как основной фактор расширения и неопределенности российского пространства (она не единственное место ухода, но синоним возможности уйти с XVII века и почти до конца XX). А во-вторых, сама Сибирь на новом витке колонизации оказывается площадкой для воспроизводства экзистенциальных смыслов «большой истории», причем в радикально разных вариантах — от гигантских ударных «строек коммунизма» до общественных кампаний «русской партии», активность ко-

6. По мнению ряда современных исследователей (см.: Миронов, 2000: 42; Каспэ, 2001: 179-181), такой курс стал одной из самых весомых причин революционного взрыва в России — национальные противоречия накладывались на социальные.

7. Николай Митрохин определяет объект своего исследования так: «Совокупность различных организаций, групп, средств массовой информации и отдельных лиц, объединенных между собой не только общей идейной платформой (допускающей очень широкое ее толкование), но и личными и организационными связями. Близким аналогом движению русских националистов в прошлом было социалистическое движение, а ныне является, например, экологическое движение» (Митрохин, 2003: 40).

торой вырастает из сибирского сопротивления «большим проектам» (Рожанский, 2005).

В арсенал идеократии, оформлявшей советскую внутреннюю колонизацию, органично вписывался и большой «сибирский миф», рожденный предыдущими веками «русской Сибири». Само формирование современного населения Сибири — это уход от прошлого, бывший для конкретного человека или семьи побегом в будущее, не менее радикальным, чем революция для страны. Уход от прошлого, вольный или невольный разрыв со «старым миром» оставался наиболее значимым (если не единственно значимым) прошлым в истории семьи, в биографии человека. Не рассматривалось как свое и прошлое того пространства, куда человек приходил «начинать сначала». Человек, живущий в Сибири, видит в качестве собственного прошлого «большую историю». Ее несущие конструкты: а) пафос свершений — вместе с Русью за Урал пришло могущество; б) в Сибирь шли или попадали лучшие — самые отважные, стойкие; в) жизнь в Сибири формировала лучшие человеческие качества; г) сибирский человек приходил на выручку стране, когда нужны были стойкость, выдержка, решительность.

Исторический образ Сибири и сибиряков предельно устойчив. Несмотря на противоречивость, он не предполагает оспаривания. Его устойчивость обеспечена воспроизводством вышеуказанных несущих конструктов, человек привязан к мифологии, которая придает особую значимость его переходу или переходу его предков в сибирскую жизнь. Противоречия образа Сибири помогают сибирской идентичности пройти крутые повороты истории. Отдельные пазлы могут меняться — общая картинка при этом сохраняется благодаря уникальной оптике. И как бы радикально ни менялись эпохи, она остается без изменений: взгляд из большой истории, привязанность к ней. Мифология государства, узурпирующего заслугу сохранения единства этого пространства, также принимается человеком с сибирской идентичностью, поскольку мифология перехода (который часто был бегством от государства) и мифология настигнувшего тебя (твоих предков) государства находятся в органичном единстве — они наделяют друг друга значимостью.

Доминирование большой истории в представлениях людей о прошлом — не только результат «исторического» образования, но и симптом отсутствия прочной связи человека с историей того места, в котором он живет. Нарушен баланс между временем и пространством, между памятью-державой и личной памятью, а большая история выполняет важную компенсаторную функцию. «Второсортность» жизни на периферии «большой» и «настоящей» компенсируется отдельными случаями причастности к этой жизни — к большой истории, литературе, политике и т. д. Выражение городской идентичности через принадлежность к большой истории приводит к тому, что городская идентичность презентует себя имперскими знаками.

Новый виток внутренней колонизации страны также оформляется идеократически в категориях «русского мира», многонациональной страны, борьбы с «фальсификацией истории», противостояния русофобии. Большая история как история непобежденности, дающая санкцию на историческую правоту, предлагается в качестве основы российской идентичности и народного единства. Сакральный характер этой исторической правоте придает масштаб принесенных жертв.

С советской идеократией нынешнюю партию власти сближает понимание социальной стабильности как проблемы управляемости и социальный деизм (причем для сегодняшней власти — независимо от «ветвей» — социальный деизм в изначальном смысле слова, как морально регулирующая роль церкви). Приобщение к исторической миссии России и ее «духовным основаниям» понимается как компенсация утрат, понесенных человеком и страной от крушения советской идентичности. Державность для правящей политической элиты — не только (и не столько) символ веры, сколько ценность, которая помогает человеку, пережившему системный кризис страны, выйти из личного кризиса идентичности, а новому поколению сформировать идентичность российскую. В таком же инструменталистском аспекте рассматривается и церковь. Национальная идея стала использоваться как административный ресурс.

Проект первого десятилетия «путинской России» был обозначен формулой «управляемая демократия», призванной согласовать имперскую государственность (державность) с основными либеральными понятиями. Антилиберальная и антизападная риторика последних трех-четырех лет обозначили ставку на управляемость и, более того, мобилизацию через инструментальное использование национализма и даже ксенофобии.

Заключение

В заключение вернемся к перспективе «сибирской миссии», обозначенной Валерием Зубовым и Владиславом Иноземцевым. Согласен с авторами, что «главное — понять, что не на Кавказе решается судьба России как современного общества, а именно в Сибири» (Зубов, Иноземцев, 2013: 174), но с той оговоркой, что понимание — лишь первый шаг. И шаг трудный, представляющийся почти невозможным, если говорить о понимании в Центре. Отсюда, вероятно, и определение его как главного. «Вертикаль власти» с подобным пониманием мало совместима. Альтернативность социальных практик, взглядов, традиций, неизбежная на огромном пространстве, несет постоянную и повсеместную угрозу появления «нештатных ситуаций» для сверхцентрализованной власти. Чтобы уход из-под контроля и умножение «горизонтальных связей» не обернулись уходом из государственного пространства, необходима гораздо большая пластичность управления, динамичная связь государственного аппарата с общественной

жизнью, чем это возможно в унитарном государстве, не признающем принцип субсидиарности. Более того, смена оптики с «вертикальной» на, условно говоря, горизонтальную маловероятна и в случае радикальной смены политической элиты. Федерализм понимается с точки зрения управляемости, а не развития даже сторонниками «реального федерализма» (Рожанский, 2013) и в публичном дискурсе «экспертного сообщества», оппозиционного существующему политическому режиму, мы видим подтверждение тезиса Михаила Гефтера об «антиимперии слова»[8]. Ни власть, ни ее активные критики не рассматривают разнородность краев, укладов, интересов как потенциал и необходимость субсидиарности. Принцип субсидиарности, технологии согласования интересов, необходимость института общественной дискуссии — все это не включено в повестку дня, не актуализируется интеллектуалами[9]. Заметим, что и в основе феномена «антиимперии слова» и в особенностях политической культуры, не предполагающей плодотворной дискуссии (а культивирующей инвективную полемику), лежат те социальные основания, которые обусловлены экстенсивным развитием этноса, то есть практики ухода на новое место, рывка в будущее, аффективный характер социальных конфликтов.

Если вслед за Зубовым и Иноземцевым рассматривать не Центр, а Сибирь в качестве лидирующего субъекта поворота в экономическом и политическом развитии страны, то осознание необходимости такого поворота и того, что его миссия выпадает Сибири, — первый и трудный, но не самый трудный шаг. Трудный потому, что централистская оптика вполне привычна и периферии/провинции, их экспертным и журналистским сообществам, языку, на котором описываются социальные проблемы и формулируются претензии или предложения Центру. Тот же гиперцентрализм описывается прежде всего как обделенность регионов и их зависимость от Центра, но не осознается и не артикулируется одна из основ этого гиперцентрализма и централистской оптики — неразвитость или отсутствие субъектности городов и регионов. Подобная субъ-

8. Михаил Гефтер, анализируя генезис сталинизма в русской истории, писал, что самодержавному модернизму и рабству развития «противостоит внутри России, в качестве ее собственного отрицания, антиимперия Слова, притязающая на духовное лидерство и буквальное воплощение в тех же пределах», и далее: «В данном контексте народ — главный предмет борьбы двух внеполитических субстанций, каждая из которых по-своему добивается «единства народа», состязаясь в средствах внесения этого единства сверху вниз» (Гефтер, 1989: 388).
9. Выясняя, например, причины отсутствия общественной дискуссии по проблемам нации, необходимой для национальной идентификации, Алексей Миллер заключает, что «мы имеем дело с общей для всего политического спектра России особенностью политической культуры, которая не предполагает плодотворной дискуссии, но понимает производителей интеллектуального продукта как враждебные друг другу группировки, борющиеся за умы массы, потребляющей этот продукт» (Миллер, 2008: 502).

ектность — первое и необходимое условие политических отношений провинций и Центра[10]. Я бы предпочел употреблять понятия «край», «земля», поскольку понятие «регион» ассоциируется с административной логикой территориального членения, а когда мы говорим о субъектности, то говорим о самоорганизации и некоей коллективной идентичности людей, у которых есть некое «общее место», значимое для их жизни, общее собственное пространство жизни. Собственно, самый трудный шаг — это формирование активной, а не только рефлексивной субъектности земель и городов.

В основе программы Зубова и Иноземцева лежит докса о Сибири как едином субъекте рефлексии и действия. Именно она вызывает сомнения, даже если говорить о некоей перспективе, рассчитанной на десятилетия. Сибирская идентичность («сибиряки») достаточно ярко выражена, но она не равна субъектности даже на уровне политической рефлексии, не говоря уже о действии. Неспособность определить и артикулировать субъектность края, земли[11], т. е.. в теории и языке присвоить пространство своей жизни, — неизбежный результат централизма гуманитарного образования и социальных исследований. Именно образование, гуманитарная культура и централизация исследований играют ключевую роль в инерции внутренней колонизации. После затухания советской волны миграции к востоку от Урала и завершения советского этапа индустриализации Сибири, в сибирских городах возникла ситуация, когда значительная часть горожан — сибиряки третьего-четвертого поколения (собственно, это и лежит в основе утверждения сибирской идентичности) (см., например: Анисимова, Ечевская, 2012). Подобная ситуация сложилась в Сибири в середине XIX века и на ее основе возникло движение областничества. Одной из основных программных целей областников было открытие в Сибири своего университета.

История повторяется в том, что ключевым вопросом для преодоления внутренней колонизации Сибири и страны в целом становится вопрос о связи университетского образования и социальных исследо-

10. За определение субъектности можно взять вот эту формулу А. Филиппова: «Чтобы совершать действия, за которые он может отвечать, человек должен выгородить себе пространство определенности, в котором каждый его поступок есть именно то, что он и намеревался сделать, и последствия поступка могут быть ему вменены. Но это также пространство, населенное иными людьми, и сделать его предсказуемым можно, либо превратив других людей в свои инструменты, рабов, либо установив вместе с ними согласие, учредив политическую общность. Где эта общность установлена словно бы раз и навсегда, там, по видимости, политическое исчезает. Где ее приходится переустанавливать и переучреждать постоянно, там дает о себе знать человеческая свобода» (http://polit.ru/article/2012/08/24/anons_filippov/).

11. Эти трудности артикуляции отчетливо видны во время протестных движений в сибирских городах, когда в репертуаре речей и лозунгов на митингах доминирует «антимосковский» пафос, обличения в колониализме, но отсутствуют или не слышны программные предложения по деколонизации.

ваний с осознанием субъектности краев и земель, выработкой языка, позволяющего включать проблемы своего социального пространства в российскую и мировую дискуссию и в политическую повестку дня.

Библиография

Анисимова А., Ечевская О. (2012). Сибирская идентичность: предпосылки формирования, контексты актуализации. Новосибирск: Новосибирский государственный университет.

Бродель Ф. (1992). Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 3. М.: Прогресс.

Бурдье П. (1993). Социология политики / Сост. и общ. ред. Н. Шматко. М.: Socio-Logos.

Гефтер М. (1989). Сталинизм // 50/50. Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс-Payot.

Зубов В., Иноземцев В. (2013). Сибирское благословение. М.: Аргамак-Медиа.

Каспэ С.И. (2001). Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН.

Ключевский В.О. (1987). Курс русской истории // *Ключевский В.О.* Соч. в 9-ти томах. М. Т. 1.

Миллер А. (2008). Нация как рамка политической жизни // Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение.

Миронов Б.Н. (2000). Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). В 2-х тт. СПб. Т. 1.

Митрохин Н. (2003). Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. М.: Новое литературное обозрение.

Родоман Б.(2008). Страна перманентного колониализма // Трансформация российского пространства: социально-экономические и природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ). М.: ИГ РАН. С. 130-138.

Родоман Б.Б. (1994). Внутренний колониализм в современной России // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. М.: Аспект Пресс. С. 94-102.

Рожанский М. (2013). Федерализм, внутренняя колонизация, образование: сибирский узел // К новой модели российского федерализма. М.: Весь мир. С. 232-248.

Рожанский М. (1999). «Евразия»: власть идеи, продуманной до конца // Вестник Евразии. Acta Eurasica. № 1-2. С. 5-19.

Рожанский М. (2005). Фантом национальной империи. Русская партия в Иркутске // Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность. Москва–Иркутск: Наталис. С. 222-248.

Серебренников И.И. (1920). Сибириеведение. Курс лекций. Харбин.

Уффельман Д. (2012). Подводные камни внутренней (де)колонизации России // Там внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение. С. 53-104.

Федотов Г. (1982). Культурные сдвиги // *Федотов Г.П.* Полное собрание статей в 4-х томах. Т. 3. Тяжба о России. Paris: Ymca-Press.

Федотов Г. (1988). Александр Невский и Карл Маркс // *Федотов Г.П.* Полное собрание статей в 4-х томах. Т. 4. Защита России. Paris: Ymca-Press.

Эткинд А. (2001). Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое // НЛО. № 49;

Эткинд А. (2003). Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации // НЛО. № 59.

Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин И. (2012). Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение. С. 6-50.

Etkind A. (2011). Internal Colonization. Russia's Imperial Experience. Polity Press.

Hill F., Gaddy C. (2003). Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia out in the Cold. The Brookings Institution Press.

Rojansky M. (1995). Le boomerang sibérien//Russie post-soviétique : la fatigue de l'histoire ? Bruxelles : Ed. Complexe. P. 117-134.

Siberian nodes of the empire

Mikhail Rozhansky, PhD (Philosophy), Scientific Head of the Center for Independent Social Studies. Address: Bogdan Khmelnitsky St., 30A, Irkutsk-3, 664003, Russia. E-mail: mr1954@yandex.ru.

The article considers the role of the Siberian factor in the key contradictions of the Russian history, in which the logic of extensive space development prevails over the logic of a decent lifestyle, and the monopolistic nature of power and imperial consciousness are preserved. The author refers to Pierre Bourdieu's concept of "circular reinforcement" (interdependence of physical and social space) as relevant for the social space of Russia. The article considers a new wave of internal colonization and its ideocratic design as a system of power that authorizes itself as the custodian of great historical meanings and demands from its subjects to adhere to these meanings. The author believes that the resumption of the authority of the center (and new hypercentralism) is determined, first, by the confirmation by the new "central" actors of its absolute ownership on the territory of the country, and, second, by the secondary colonization (i.e. the system to hold the population), which explains the reproduction of the empire. The author accepts the key role of the Siberian factor in the search for ways to overcome the logic of extensive development (the program of V. Zubov and V. Inozemtsev) but questions the single subjectness of Siberia as a manifestation of the optics of centralism in social sciences. The Siberian identity ("Siberians") does not lead to the subjectivity of Siberia even as a form of political reflection. One of the destructive consequences of centralism in social sciences is their inability to articulate the subjectivity of the territory, land or local community in scientific terms. The article outlines the role of some social studies and humanitarian education in promoting real federalism.

Keywords: Siberia, social space, circular reinforcement, internal colonization, ideocracy, local self-government, federalism.

References

Anisimova A., Echevskaya O. (2012) *Sibirskaya identichnost: predposylki formirovaniya, konteksty aktualizatsii* [Siberian Identity: Prerequisites, and Contexts for Actualization]. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvennyj universitet.

Bourdieu P. (1993) *Sociologiya politiki* [Sociology of Politics]. Sost. i obsch. red. N. Shmatko. Moscow: Socio-Logos.

Braudel F. (1992) *Materialnaya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm. XV–XVIII vv.* [Material Civilization, Economics and Capitalism. 15th - 18th Centuries]. Vol. 3. Moscow: Progress.

Etkind A. (2001) Foucault i tezis vnutrennej kolonizatsii: postkolonialnyj vzglyad na sovetskoe proshloe [Foucault and the thesis of internal colonization: A postcolonial version of the Soviet past]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie,* no 49.

Etkind A. (2003) Russkaya literatura, XIX vek: roman vnutrennej kolonizatsii [Russian literature, 20th Century: A novel of internal colonization]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie,* no 59.

Etkind A. (2011) *Internal Colonization. Russia's Imperial Experience*. Polity Press.

Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (2012) Vnutrennyaya kolonizatsiya Rossii: mezhdu praktikoj i voobrazheniem [Internal colonization of Russia: Between practice and imagination]. *Tam vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizatsii v kulturnoj istorii Rossii.* Pod red. A. Etkinda, D. Uffelmana, I. Kukulina. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 6-50.

Fedotov G. (1982) Kulturnye sdvigi [Cultural shifts]. Fedotov G.P. *Polnoe sobranie statej v 4 tomah*. Vol. 3. Tyazhba o Rossii. Paris: Ymca-Press.

Fedotov G. (1988) Aleksander Nevsky and Karl Marx. Fedotov G.P. *Polnoe sobranie statej v 4 tomah*. Vol. 4. Zaschita Rossii. Paris: Ymca-Press .

Gefter M. (1989) Stalinism. *50/50. Opyt slovarya novogo myshleniya*. Moscow: Progress-Payot.

Hill F., Gaddy C. (2003) *Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia out in the Cold.* The Brookings Institution Press.

Kaspe S.I. (2001) *Imperiya i modernizatsiya: obschaya model i rossijskaya spetsifika* [Empire and Modernization: General Model and Russian Specifics]. Moscow: ROSSPEN.

Klyuchevsky V.O. (1987) Kurs russkoj istorii [A course on Russian history]. Klyuchevskij V.O. *Soch. v 9-ti tomah*. Vol. 1. Moscow.

Miller A. (2008) Natsiya kak ramka politicheskoj zhizni [Nation as a framework for political life]. *Nasledie imperij i buduschee Rossii.* Pod red. A.I. Millera. Moscow: Fond "Liberalnaya missiya"; Novoe literaturnoe obozrenie.

Mironov B.N. (2000) *Socialnaya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII-nachalo XX v.)* [Social History of Russia as an Empire (18th — Early 20th Century)]. V 2-h tt. Saint Petersburg. Vol. 1.

Mitrokhin N. (2003) *Russkaya partiya: Dvizhenie russkih natsionalistov v SSSR. 1953-1985 gody* [Russian Party: Russian Nationalist Movement in USSR. 1953-1985]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Rodoman B. (2008) Strana permanentnogo kolonializma [A country of permanent colonialism]. *Transformatsiya rossijskogo prostranstva: socialno-ekonomicheskie i prirodno-resursnye faktory (polimasshtabnyj analiz*). Moscow: IG RAN, pp. 130-138.

Rodoman B.B. (1994) Vnutrennij kolonializm v sovremennoj Rossii [Internal colonialism in contemporary Russia]. *Kuda idet Rossiya?.. Socialnaya transformatsiya postsovetskogo prostranstva*. Moscow: Aspekt Press, pp. 94-102.

Rojansky M. (1995) Le boomerang sibérien. *Russie Post-Soviétique: La Fatigue de l'Histoire?* Bruxelles: Ed. Complexe, pp. 117-134.

Rozhansky M. (1999) "Evraziya": vlast idei, produmannoj do kontsa ["Eurasia": The power of the well thought out idea]. *Vestnik Evrazii. Acta Eurasica,* no 1-2, pp. 5-19.

Rozhansky M. (2005) Fantom natsionalnoj imperii. Russkaya partiya v Irkutske [Phantom of the national empire. Russian Party in Irkutsk]. *Bajkalskaya Sibir: iz chego skladyvaetsya stabilnost*. Moscow-Irkutsk: "Natalis", pp. 222-248.

Rozhansky M. (2013) Federalizm, vnutrennyaya kolonizatsiya, obrazovanie: sibirskij uzel [Federalism, internal colonization, and education: A Siberian node]. *K novoj modeli rossijskogo federalizma*. Moscow: "Ves mir", pp. 232-248.

Serebrennikov I.I. (1920) *Sibirievedenie. Kurs lektsij* [Siberian Studies. A Course of Lectures]. Harbin.

Uffelman D. (2012) Podvodnye kamni vnutrennej (de)kolonizatsii Rossii [Pitfalls of the internal (de)colonization of Russia]. *Tam vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizatsii v kulturnoj istorii Rossii*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 53-104.

Zubov V., Inozemtsev V. (2013) *Sibirskoe blagoslovenie* [Siberian Blessing]. Moscow: Argamak-Media.